



ПРОСПЕР

МЕРИМЕ

*ХРОНИКА ВРЕМЕН
КАРЛА IX*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Проспер Мериме
Хроника времен Карла IX

«Издательство АСТ»

1829

УДК 821.133.1-32
ББК 84(4Фра)-44

Мериме П.

Хроника времен Карла IX / П. Мериме — «Издательство АСТ»,
1829 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-175109-8

«Хроника времен Карла IX» — знаменитый исторический роман Проспера Мериме, переносящий читателя во Францию XVI века — страну, раздираемую религиозными войнами. На фоне кровавого противостояния католиков и гугенотов разворачивается трагическая история двух братьев — Бернара и Жоржа де Мержи, оказавшихся по разные стороны баррикад. Мериме, известный своим лаконичным стилем и тонкой иронией, мастерски изображает нравы эпохи: фанатизм и интриги, дуэли и придворные заговоры, кульминацией которых становится Варфоломеевская ночь.

УДК 821.133.1-32

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-175109-8

© Мериме П., 1829
© Издательство АСТ, 1829

Содержание

Предисловие	6
I. Рейтары	11
II. На следующий день после пирушки	20
III. Придворная молодежь	25
IV. Обращенный	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Проспер Мериме

Хроника времен Карла IX

Mérimée Prosper
Chronique du règne de Charles IX

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Предисловие

Я только что прочел довольно большое количество мемуаров и памфлетов, касающихся конца XVI века. Мне захотелось сделать выдержки из прочитанного. Эти выдержки и составляют эту книгу.

В истории я люблю только анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, в которых, представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи. Подобное пристрастие не очень благородно, но должен признаться, к своему стыду, что я охотно бы отдал Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или какого-нибудь Периклова раба, – ибо только мемуары, которые представляют собой задушевное собеседование автора с читателями, дают нам то изображение *человека*, которое интересует и занимает меня. Совсем не у Мезре, а у Монлюка, Брантома, д'Обинье, Таванна, Ла-Ну черпаем мы свое понятие о *французах* XV века. Стиль этих авторов так же показателен для их времени, как и их повествование.

Например, я читаю у Этуала следующую краткую заметку: «Девушка де Шатонеф, одна из милочек короля, до его отъезда в Польшу, выйдя по любовной прихоти замуж за флорентинца Антиногги, капитана галер в Марселе, и найдя его распутничающим, убила его, как мужчину, собственными руками».

По этому анекдоту и по стольким другим, которыми полон Брантом, я воссоздаю в уме своем некий характер, и передо мной воскресает придворная дама эпохи Генриха III.

Любопытно, думается мне, сравнить эти нравы с нашими и проследить, как выродились энергичные страсти в наши дни и заменились большим спокойствием, может быть – счастьем. Остается открытым вопрос, лучше ли мы наших предков, но решить его не так легко, ибо взгляды на одни и те же действия с течением времени очень изменились.

Так, например, убийство или отравление около 1500 года не внушали такого ужаса, какой они внушают теперь. Дворянин предательски убивал своего врага, просил помилования, получал его и снова появлялся в обществе, и никому не приходило в голову отворачиваться от него. Случалось даже – если убийство было вызвано чувством законной мести, – что об убийце говорили как теперь говорят о порядочном человеке, который убил бы на дуэли нахала, жестоко его оскорбившего.

Мне кажется, таким образом, очевидным, что поступки людей XVI века не следует судить с точки зрения понятий XIX века. То, что в государстве с усовершенствованной цивилизацией считается преступлением, в государстве с менее передовой цивилизацией рассматривается только как признак смелости, а в варварские времена может сойти за похвальный поступок. Суждение *об одном и том же поступке*, как видно, должно видоизменяться *сообразно стране*, так как между народностями существует такая же разница, как между одним столетием и другим¹.

Мехмет-Али, у которого мамелюкские беи оспаривали власть над Египтом, однажды приглашает к себе во дворец на праздник главных начальников этого войска. Как только они входят во внутренний двор, ворота за ними затворяются. Скрытые на верхних террасах албанцы расстреливают их, и отныне Мехмет-Али – единоличный владетель Египта.

И что же: мы заключаем с Мехметом-Али договоры; он пользуется даже уважением среди европейцев, и все газеты видят в нем великого человека; его именуют благодетелем Египта. А между тем что может быть ужаснее обдуманного убийства беззащитных людей. Но, по правде

¹ Не следует ли распространить это правило и на отдельные личности? Одинаково ли виновен сын вора, занимающийся воровством, и воспитанный человек, объявляющий себя злостным банкротом? – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – примечания автора.*

сказать, подобные западни узаконены местными обычаями и невозможностью выйти из положения другим способом. Вот где можно применить изречение Фигаро: «Ma, per Dio, l'utilità»².

Если бы у некоего министра, фамилии которого я не назову, нашлись под рукой албанцы, готовые расстреливать по его приказу, и если бы на одном из парадных обедов он уколошил выдающихся членов левой партии, то *фактически* его поступок был бы таким же, как поступок египетского паши, но *этически* – во сто раз преступнее. Убийство не в наших нравах. Но вышеупомянутый министр сместил многих либеральных выборщиков, мелких чиновников министерства, запугал других и таким способом добился выборов по своему вкусу. Если бы Мехмет-Али был министром во Франции, он ограничился бы тем же самым; и нет сомнения, что французский министр, перенесенный в Египет, принужден был бы прибегнуть к расстрелу, так как увольнения не могли бы произвести на нравственное состояние мамелюков достаточного впечатления³.

Варфоломеевская ночь была даже для своего времени большим преступлением; но, повторяю, массовое избиение в XVI веке совсем не такое же преступление, как избиение в XIX столетии. Прибавим еще, что бóльшая часть нации принимала в этом участие непосредственным действием или сочувствием: она вооружилась для преследования гугенотов, на которых смотрела как на чужеземцев и врагов.

Варфоломеевская ночь была как бы национальным восстанием, вроде испанского восстания 1809 года, и парижские горожане, умерщвляя еретиков, твердо верили, что повинуются голосу неба.

Простому рассказчику, как я, не пристало давать в этом томе точное изложение исторических событий 1572 года; но раз я заговорил о Варфоломеевской ночи, я не могу удержаться, чтоб не привести здесь нескольких мыслей, пришедших мне в голову при чтении этой кровавой страницы нашей истории.

Хорошо ли поняты причины, вызвавшие это избиение? Было ли оно задолго обдуманное или же явилось следствием решения внезапного и даже случайного?

На все эти вопросы ни один историк не дает мне удовлетворительного ответа.

В качестве доказательств они используют городские слухи и предполагаемые разговоры, обладающие весьма малой ценностью, когда дело идет о разрешении столь важного исторического вопроса.

Одни делают Карла IX чудовищем двуличности; другие изображают его человеком угрюмым, сумасбродным и нетерпеливым. Если он раздражается угрозами против гугенотов задолго до 24 августа... это служит доказательством, что он издавна готовил им разгром; если он их ласкает... это – доказательство его двуличности.

Я хочу напомнить об одной лишь истории, которая приводится везде и которая доказывает, с какой легкостью доверяют самым невероятным слухам.

Говорят, что приблизительно за год до Варфоломеевской ночи был уже составлен план избиения. Вот этот план. В Пре-о-Клер предполагали деревянную башню; внутри ее собрались поместить герцога Гиза с дворянами и солдатами из католиков, а адмирал с протестантами должны были произвести примерную атаку, как будто для того, чтобы доставить королю зрелище примерной осады. В разгар этого в своем роде турнира по данному сигналу католики должны были зарядить свои ружья и убить врагов раньше, чем те успели бы приготовиться к защите. Чтобы разукрасить эту историю, прибавляют, что фаворит Карла IX, по фамилии Линьероль, будто бы нескромно выдал весь этот заговор, сказав королю, когда тот поносил протестантских вельмож: «Ах, ваше величество, погодите, будет у нас крепостная башня, которая отомстит за нас всем еретикам». (Заметьте, прошу вас, что для этой крепости ни одна

² «А польза, черт возьми!» (*ит.*)

³ Предисловие это было написано в 1829 г.

доска еще не была поставлена.) Король позаботился лишить жизни этого болтуна. Говорят, что план этот изобретен был канцлером Бирагом, в уста которого между тем влагают следующие слова, свидетельствующие о совершенно противоположных намерениях; что «для освобождения короля от его недругов ему требуется только несколько поваров». Последнее средство было гораздо удобоисполнимее, чем первое, экстравагантность которого делала его почти неосуществимым. И действительно, неужели у протестантов не возникло бы подозрения относительно приготовлений к такой примерной войне, где столкнулись бы обе партии, недавно еще враждебные друг другу? Наконец, собрать гугенотов воедино и вооружить их – было бы плохим средством для того, чтобы купить их гибель дешевой ценой. Очевидно, что, если бы в то время задумали их всех уничтожить, было бы лучше напасть на каждого в отдельности и на безоружных.

Что касается меня, я твердо убежден, что избиение не было заранее обдуманно, и не могу постигнуть, как склоняются к противоположному мнению авторы, в то же время единодушно считающие Катерину женщиной, правда, очень злой, но одним из глубочайших политических умов своего времени.

Отложим временно в сторону мораль и рассмотрим этот предполагаемый план с точки зрения его полезности. Я утверждаю, что он не был полезен двору и, кроме того, был приведен в исполнение с такой неловкостью, которая заставляет предполагать, что составители этого плана были людьми самыми сумасбродными на свете.

Рассмотрим, должна ли была королевская власть выиграть или проиграть от такого плана и в ее ли интересах было допускать подобное исполнение.

Франция была разделена на три большие партии: на партию протестантов, во главе которой после смерти принца Конде стоял адмирал, на королевскую партию, самую слабую, и на партию Гизов, тогдашних крайних роялистов.

Очевидно, что король, имевший одинаковые основания опасаться как Гизов, так и протестантов, должен был бы для сохранения своей власти стараться, чтобы обе эти стороны находились в состоянии вражды. Уничтожить одну из них – значило отдать себя на благоусмотрение другой.

Система политических качелей уже тогда была отлично известна и применялась на практике. Ведь изречение «разделять, чтобы царствовать» принадлежит Людовику XI.

Теперь посмотрим, какова была набожность Карла IX, так как излишняя набожность могла бы побудить его к мероприятиям, расхившимся с его выгодой. Но все, наоборот, указывает на то, что, не будучи свободомыслящим, он тем не менее не был фанатиком; к тому же и мать его, которая им руководила, никогда не поколебалась бы пожертвовать своими религиозными убеждениями, если только они у нее были, в пользу властолюбия⁴.

Но предположим, что Карл, или его мать, или, если угодно, его правительство решили, вопреки всем правилам политики, извести во Франции протестантов; если бы они пришли к такому решению, вероятно, они зрело обдумали бы средства, наиболее способные обеспечить им успех в этом деле. В таком случае первое, что приходит в голову как самое верное средство, это то, чтобы избиения происходили по всем городам королевства одновременно, и реформаты, таким образом, подвергнувшись повсюду нападению со стороны численно превосходящей⁵ их силы, были бы лишены возможности защищаться где бы то ни было. Чтобы

⁴ Приводят как доказательство глубокой двуличности Карла IX одну его фразу, которая, по-моему, представляет только грубую выходку человека, совершенно равнодушного к религиозным вопросам. Папа всячески задерживает разрешение на брак Маргариты де Валуа, сестры Карла IX, с Генрихом IV, в то время протестантом. Король сказал: «Пусть святой отец откажет! Я возьму сестрицу Марготон под руку и выдам ее замуж в протестантской кирке».

⁵ Население Франции тогда равнялось приблизительно двадцати миллионам. Считается, что ко времени второй гражданской войны протестантов насчитывалось не более полутора миллионов, но у них было пропорционально больше денег, солдат и генералов.

истребить их, достаточно было бы одного дня. Таким именно образом Ассур некогда задумал избиение евреев.

Между тем мы читаем, что первые королевские приказы об избиении протестантов получены 22 августа, т. е. четырьмя днями позднее Варфоломеевской ночи, так что известия об этой бойне должны были предупредить королевские депеши и встревожить всех людей, заинтересованных в делах религии.

Главным образом необходимо было овладеть укрепленными местами протестантов. Пока они находились в их руках, королевская власть не была достаточно прочной. Таким образом, если предположить существование католического заговора, станет очевидным, что одним из главнейших мероприятий должен был быть захват Ла-Рошели 24 августа и в то же время наличие войска на юге Франции, чтобы воспрепятствовать соединению реформатов⁶.

Ничего этого сделано не было.

Я не могу допустить, чтобы одни и те же люди, которые смогли задумать преступный план, чреватый столь важными последствиями, так плохо привели его в исполнение. Действительно, принятые меры были столь недействительны, что через несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война заново разгорелась, причем реформаты не только покрыли себя славой, но и извлекли новые выгоды.

Наконец, убийство Колиньи, происшедшее за два дня до Варфоломеевской ночи, не окончательно ли опровергает предположение о заговоре? Зачем убивать главу раньше всеобщего избиения? Не было ли это средством вспугнуть гугенотов и заставить их быть настороже?

Я знаю, что некоторые авторы приписывают единолично герцогу Гизу покушение на особу адмирала; но, помимо того что общественное мнение обвиняло в этом преступлении⁷ короля и что убийца получил награду *от короля*, я из этого факта извлек бы новый аргумент против существования заговора. И действительно, если бы таковой существовал, герцог Гиз обязательно принимал бы в нем участие; тогда почему не отложить на два дня родовую месть, чтобы сделать ее более верной? Зачем подвергать риску успех всего предприятия только из-за надежды ускорить на два дня смерть врага?

Итак, все, на мой взгляд, доказывает, что это массовое избиение не было результатом заговора короля против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне актом народного восстания, которого нельзя было предвидеть и которое разразилось внезапно.

Со всей скромностью попытаюсь предложить свое решение загадки.

Колиньи трижды договаривался со своим государем, как равноправная власть с другой властью; одно это уже могло возбудить ненависть. По смерти Жанны д'Альбре оба юных принца – и король Наваррский, и принц де Конде – были слишком молоды, так что на деле Колиньи единолично возглавлял реформатскую партию. После его смерти принцы, находясь посреди враждебного лагеря, оказались как бы пленниками и зависели от благоусмотрения короля. Итак, смерть Колиньи, и только одного Колиньи, была важна для укрепления власти Карла IX, который, быть может, не забыл изречения герцога Альбы: «Одна голова семги стоит больше, чем десять тысяч лягушек».

Но если бы одним ударом король освобождался и от адмирала, и от герцога Гиза – очевидно, он становился бы неограниченным владыкой.

Он должен был бы предпринять следующее, а именно: поручить или по крайней мере приписать убийство адмирала герцогу Гизу, потом начать преследование против этого принца как против убийцы, объявив, что он готов выдать его с головой гугенотам. Известно, что герцог Гиз, виновный или нет в покушении Морвеля, со всей поспешностью покинул Париж, и

⁶ Во время второй гражданской войны протестанты в один и тот же день врасплох завладели больше чем половиной укрепленных мест Франции. Католики могли сделать то же самое.

⁷ Морвель был прозван «королевским убийцей». Смотри Брантома.

реформаты, которым король для видимости покровительствовал, разразились угрозами против принцев Лотарингского дома.

Парижский народ в эту эпоху был до крайности фанатичен. Горожане, организованные на военный лад, образовали нечто вроде национальной гвардии и могли при первом ударе набата выступить в бой. Насколько герцог Гиз был любим парижанами в память об отце и по собственным заслугам, настолько гугеноты, дважды осаждавшие их, были им ненавистны. Известная милость, которой эти последние пользовались при дворе, когда одна из сестер короля вышла замуж за единоверного им принца, удвоила их заносчивость и ненависть против них врагов. Одним словом, достаточно было бы стать кому-нибудь во главе этих фанатиков и крикнуть «Бей!», чтобы они бросились резать своих еретических соотечественников.

Удаленный от двора, находясь в опасности и со стороны короля, и со стороны принцев, герцог принужден был опереться на народ. Он собирает начальников городской гвардии, говорит, что еретики составили заговор, убеждает истребить их, пока они не привели своих замыслов в исполнение, – и *только* после этого появляется мысль о резне. Таинственность, сопровождавшая заговор, и то обстоятельство, что такое большое количество людей так хорошо сохранило секрет, объясняются тем, что между замыслом и исполнением протекло всего несколько часов. Странно, если бы было иначе, так как «в Париже интимные признания идут быстрым ходом»⁸.

Трудно определить, какое участие принимал король в этом избиении: если он его не одобрил – во всяком случае, он его допустил. Через два дня после убийств и насилия он ото всего отперся и захотел остановить бойню⁹, но народной ярости была дана свобода, и небольшое количество крови не в силах было ее успокоить. Она нуждалась в шестидесяти тысячах жертв. Монарх принужден был отдаться течению, которое влекло его за собой. Он отменил приказ о помиловании и вскоре издал другой, распространивший убийство по всей Франции.

Таково мое мнение о Варфоломеевской ночи, и, предлагая его вниманию читателя, я повторю вместе с лордом Байроном:

«I only say, suppose this supposition». D. Juan, canto I, st. LXXXV¹⁰.

1829 г.

⁸ Слова Наполеона.

⁹ Он приписывал убийство Колиньи и массовое избиение герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

¹⁰ «Я говорю лишь – предположим это» («Дон Жуан», песнь I, строфа LXXXV) (англ.).

I. Рейтары

*The black bands came over
The Alps and their snow,
With Bourbon the rover
They passed the broad Po.*

*Отряд по обвалам
Альпийским прошел,
С Бурбоном удалым
Он По перешел.*

Байрон. Преображенный урод

Недалеко от Этампа, если ехать в сторону Парижа, еще и поныне можно видеть большое квадратное здание со стрельчатыми окнами, украшенное несколькими грубыми изваяниями. Над входом находится ниша, где в прежние времена стояла Мадонна из камня; но во время революции ее постигла та же участь, что и многих святых обоого пола, – она торжественно была разбита на куски председателем революционного клуба в Ларси. Впоследствии на ее место поставили другую Деву Марию, правда из гипса, но имеющую благодаря шелковым лоскуткам и стеклянным бусам довольно хороший вид и придающую почтенную внешность кабачку Клода Жиро.

Больше двухсот лет тому назад, а именно – в 1572 году, здание это, как и теперь, служило приютом для жаждущих путников; но тогда у него была совсем другая внешность. Стены были покрыты надписями, свидетельствовавшими о различных этапах гражданской войны. Рядом со словами: «*Да здравствует принц!*»¹¹ – можно было прочесть: «*Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!*» Немного далее какой-то солдат нарисовал углем виселицу с повешенным и, дабы не было ошибки, внизу прибавил надпись: «Гаспар де Шатильон». Но, по-видимому, спустя некоторое время местностью овладели протестанты, так как имя их вождя было стерто и заменено именем герцога Гиза. Другие надписи, полустертые, которые довольно трудно было разобрать и еще труднее передать в приличных выражениях, доказывали, что короля и его мать щадили не более, чем вождей партии. Но больше всех пострадала, казалось, от гражданских и религиозных расправ несчастная Мадонна. Местах в двадцати на статуе были следы от пуль, свидетельствующие, как ревностно гугенотские солдаты старались разрушить то, что они называли «языческими идолами». Если каждый набожный католик снимал почтительно головной убор, проходя мимо статуи, то каждый протестантский всадник считал долгом выстрелить в нее из аркебузы и, попав, чувствовал такое же удовлетворение, как если бы сразил апокалиптического зверя и ниспроверг язычество.

В течение уже нескольких месяцев между враждующими разноверцами был заключен мирный договор; но клятвы были произнесены устами, а не сердцем. Враждебность между обеими партиями продолжала существовать с прежней непримиримостью. Все говорило, что война едва прекратилась, все возвещало, что мир не может быть длителен.

Гостиница «Золотого льва» была наполнена солдатами. По иностранному выговору, по странной одежде в них можно было признать немецких конников, так называемых *рейтаров*¹², которые являлись предлагать свои услуги протестантской партии, особенно когда та была в состоянии хорошо их оплачивать. Если ловкость этих чужеземцев в управлении лошадьми и их искусство в обращении с огнестрельным оружием делали их грозными в час сражения, то,

¹¹ Принц Конде.

¹² Искаженное немецкое слово Reiter – всадник.

с другой стороны, они пользовались славой, может быть еще более заслуженной, отчаянных грабителей и беспощадных победителей. Отряд, расположившийся в гостинице, состоял из полусотни конных; они выехали из Парижа накануне и направлялись в Орлеан, чтобы остаться там гарнизоном.

Покуда одни чистили лошадей, привязанных к стене, другие разводили огонь, поворачивали вертела и занимались стряпней. Несчастный хозяин гостиницы, с шапкой в руках и слезами на глазах, смотрел на беспорядок, произведенный в его кухне. Он видел, что курятник опустошен, погреб разграблен, а у бутылок прямо отбивают горлышки, не откупоривая; к довершению несчастья ему было хорошо известно, что, несмотря на строгие приказы короля относительно военной дисциплины, ему нечего было ждать возмещения убытков со стороны тех, кто обращался с ним как с неприятелем. В эти злосчастные времена общепризнанной истиной было то, что войско в походе жило всегда за счет обитателей тех местностей, где оно находилось.

За дубовым столом, потемневшим от жира и копоти, сидел капитан рейтаров. Это был высокий, полный человек, лет под пятьдесят, с орлиным носом, воспаленным цветом лица, редкими седоватыми волосами, плохо прикрывавшими широкий шрам, начинавшийся от левого уха и терявшийся в густых усах. Он снял свою кирасу и каску и оставался в одном камзоле из венгерской кожи, который был вытерт дочерна вооружением и тщательно заплата в многих местах. Сабля и пистолеты лежали на скамейке у него под рукой; он все-таки сохранил при себе широкий кинжал – оружие, с которым благоразумный человек расставался, только ложась спать.

По левую руку от него сидел молодой человек, с ярким румянцем, высокий и довольно стройный. Камзол у него был вышит, и вообще во всем костюме заметна была большая изысканность, чем у товарища. Тем не менее он был всего только корнетом при капитане.

Компанию с ними разделяли две молодые женщины, лет по двадцати – двадцати пяти, сидевшие за тем же столом. В их платьях, сшитых не по ним и, по-видимому, попавших в их руки как военная добыча, сочетались нищета и роскошь. На одной был надет лиф из твердого шелка, затканного золотом, совершенно потускневшим, и простая холщовая юбка, на другой – роба из лилового бархата и мужская шляпа из серого фетра, украшенная петушиным пером. Обе были недурны собой; но по их смелым взглядам и вольным речам чувствовалось, что они привыкли жить среди солдат. Из Германии они выехали без определенных занятий. Женщина в лиловом бархате была цыганкой; она умела гадать по картам и играть на мандолине. Другая была сведуща в хирургии и, по-видимому, пользовалась преимущественным уважением корнета.

Перед каждым из четырех стояло по большой бутылке и по стакану; они болтали и пили в ожидании обеда.

Разговор уже истощался, как вдруг перед входом в гостиницу остановил свою хорошую рыжую лошадь молодой человек высокого роста, довольно элегантно одетый. Рейтарский трубач поднялся со скамейки, на которой сидел, и, подойдя к незнакомцу, взял его лошадь под уздцы. Незнакомец счел это за доказательство вежливости и хотел уже поблагодарить; но он сейчас же понял свою ошибку, так как трубач открыл лошади морду и глазом знатока осмотрел ей зубы; потом отошел и, со стороны оглядев ноги и круп благородного животного, покачал головой с удовлетворенным видом.

– Прекрасная лошадь, сударь, на которой вы приехали! – сказал он на ломаном французском языке и прибавил еще несколько слов по-немецки, возбудивших смех среди его товарищей, к которым он тотчас опять вернулся.

Этот бесцеремонный осмотр пришелся не по вкусу путешественнику, но он ограничился тем, что бросил презрительный взгляд на трубача и соскочил на землю без посторонней помощи.

Тут вышел из дому хозяин, почтительно принял у него из рук уздечку и сказал ему шепотом на ухо, чтобы рейтарам не было слышно:

– Бог в помощь, молодой барин, но не в добрый час вы приехали. Компания этих нехристей (чтоб святой Христофор свернул им шею) не очень-то приятна для добрых христиан, как мы с вами.

Молодой человек горько улыбнулся.

– Эти господа – протестантская кавалерия? – сказал он.

– К тому же рейтары! – подхватил трактирщик. – Накажи их, Мать Богородица! Только час здесь пробыли, а половину вещей у меня переломали. Такие же бессовестные грабители, как и коновод их, де Шатильон, чертов адмирал.

– До седых волос вы дожили, – ответил молодой человек, – а ума не нажили. А вдруг вы говорите с протестантом и он ответит вам здоровой затрещиной? – Говоря это, он постегивал по своим сапогам из белой кожи хлыстом, которым он погонял лошадь.

– Как!.. Что?.. Вы – гугенот?! Протестант, хотел я сказать, – восклицал изумленный трактирщик.

Он отступил на шаг и осмотрел незнакомца с головы до ног, словно ища в его costume какого-нибудь признака, по которому можно было бы различить, какую религию он исповедует. Этот осмотр и открытое, смеющееся лицо молодого человека понемногу его успокоили, и он снова начал, еще тише:

– Протестант в зеленом бархатном платье! Протестант в испанских брыжах! Нет, это невозможно! Нет, барин, такого удалства не видать у еретиков, Пресвятая Мария! Камзол из тонкого бархата – жирно будет для этих оборванцев!

Хлыст сейчас же свистнул и, ударив бедного трактирщика по щеке, послужил как бы символом веры его собеседника.

– Болтун нахальный! Учись держать язык за зубами! Ну, веди лошадь на конюшню, и чтоб всего там было ей вволю!

Трактирщик, опустив печально голову, повел лошадь в какой-то сарай, ворча про себя проклятья и немецким, и французским еретикам, и, если бы молодой человек не пошел за ним следом посмотреть, какой уход будет за его лошадью, несомненно, бедное животное в качестве еретического оставлено было бы на ночь без корма.

Приезжий вошел в кухню и приветствовал собравшихся там, грациозно приподняв большую широкополую шляпу, оттененную желто-черным пером. Капитан ответил ему на поклон, и некоторое время оба молча смотрели друг на друга.

– Капитан, – сказал приезжий молодой человек, – я дворянин из протестантов, и я рад встретить здесь собратьев по вере. Если вы ничего не имеете против, мы поужинаем вместе.

Вежливое обращение и элегантное платье приезжего расположили капитана в его пользу, и он ответил, что тот ему оказывает честь. Молодая цыганка Мила, о которой мы упоминали, поспешила очистить ему место на скамейке возле себя. И, будучи от природы услужливой, она даже дала ему свой стакан, который капитан сейчас же и наполнил.

– Меня зовут Дитрих Горнштейн, – сказал капитан, чокаясь с молодым человеком. – Вы, конечно, слышали о капитане Дитрихе Горнштейне. Это я водил «потерянных детей» в бой при Дрё, а затем при Арне-ле-Дюк.

Приезжий понял, что окольным путем у него спрашивают, как его зовут; он ответил:

– К сожалению, я не могу назвать такого же знаменитого имени, как ваше, капитан; я имею в виду себя, потому что имя моего отца достаточно сделалось известным за нашу гражданскую войну. Меня зовут Бернар де Мержи.

– Кому вы называете эту фамилию! – воскликнул капитан, наполняя свой стакан до краев. – Я знавал вашего батюшку, господина Бернара де Мержи! С первой, гражданской войны я знал его, как знают близкого друга. За его здоровье, господин Бернар!

Капитан протянул свой стакан и сказал отряду несколько слов по-немецки. Как только он поднес вино к губам, все его кавалеристы с криком подбросили свои шапки в воздух. Трактирщик, думая, что это сигнал к избиению, бросился на колени. Самого Бернара несколько удивило это необыкновенное доказательство уважения; тем не менее он счел за долг, в ответ на эту немецкую вежливость, выпить за здоровье капитана.

Бутылки до его прихода понесли уже сильный урон, так что на новый тост вина не хватило.

– Вставай, святоша! – сказал капитан, повернувшись к трактирщику, продолжавшему стоять на коленях. – Вставай и иди за вином. Разве не видишь, что бутылки пусты?

В виде наглядного доказательства корнет запустил ему в голову одной из бутылок. Трактирщик побежал в подвал.

– Человек этот отъявленный нахал, – сказал де Мержи, – но если бы бутылка попала, вы могли бы причинить ему больше вреда, чем сами хотели.

– Вздор! – ответил корнет, громко расхохотавшись.

– Голова паписта крепче этой бутылки, хотя и пустее ее, – заметила Мила.

Корнет расхохотался еще громче; все последовали его примеру, даже Мержи, хотя улыбка на устах последнего была вызвана скорее хорошеньким ртом цыганки, чем ее жестокой остротой.

Принесли вина, затем подали ужин, и после некоторого молчания капитан снова начал с набитым ртом:

– Знавал ли я господина де Мержи! Он был полковником в пехоте начиная с первого похода принца. Два месяца подряд, во время осады Орлеана, мы стояли с ним в одном помещении... А как теперь его здоровье?

– Для его преклонных лет, слава Богу, недурно. Он часто рассказывал мне о рейтарах и об их лихих атаках во время боя при Дрё.

– Я знал и старшего его сына... вашего брата... капитана Жоржа. Я хочу сказать, до его... Мержи казался смущенным.

– Это был храбрец неустрашимый, – продолжал капитан, – но, черт возьми, горячая голова! Мне было очень досадно за вашего батюшку: его отступничество немало должно было причинить ему горя.

Мержи покраснел до корней волос; он что-то пробормотал в оправдание своему брату, но легко можно было заметить, что он осуждает его еще строже, чем капитан рейтаров.

– Ах, как видно, вам это неприятно, – сказал капитан, – ну, так не будем больше говорить об этом. Это потеря для религии и большое приобретение для короля, который, говорят, держит его в большом почете.

– Вы пришли из Парижа, – прервал его Мержи, стараясь перевести разговор на другую тему, – господин адмирал уже прибыл? Вы его видели, конечно? Как он теперь себя чувствует?

– Он возвратился из Блуа вместе с двором, когда мы выступали. Прекрасно себя чувствует, свеж и бодр. Он еще двадцать гражданских войн отхватает, миляга. Его величество обращается с ним так внимательно, что все паписты лопаются с досады.

– Да и правда! Королю никогда вполне не отплатить ему за его доблесть.

– Как раз еще вчера я видел, как на луврской лестнице король пожимал руку адмиралу. У господина де Гиза, что шел позади них, был жалкий вид побитой собаки; а мне – знаете, что мне пришло в голову? Мне казалось, будто дрессировщик показывает льва на ярмарке: заставляет его подавать лапу, как собачки делают; но, хоть парень и не моргнет и виду не показывает, однако ни на минуту не забывает, что у лапы, которую он держит, страшные когти. Да, провалиться мне на месте, всякий бы сказал, что король чувствует адмиральские когти!

– У адмирала длинная рука, – сказал корнет. (Это выражение ходило как поговорка в протестантском войске.)

– Для своих лет он очень видный мужчина, – заметила Мила.

– Я предпочла бы иметь любовником его, нежели какого-нибудь молодого паписта! – подхватила Трудхен, подруга корнета.

– Это – столп веры! – произнес Мержи, чтобы тоже принять участие в восхвалениях.

– Да, но он чертовски строг в вопросах дисциплины, – сказал капитан, покачав головой.

Корнет многозначительно подмигнул, и его толстая физиономия сморщилась в гримасу, которую он считал улыбкой.

– Не ожидал, – сказал Мержи, – от такого старого солдата, как вы, капитан, упреков господину адмиралу за точное соблюдение дисциплины, которого он требует в своих войсках.

– Да, спору нет, дисциплина нужна; но, в конце концов, нужно и то принять в расчет, сколько солдату приходится переносить невзгод, и не запрещать ему хорошо провести время, когда случайно это ему удастся. Ну, что же? У всякого человека есть свои недостатки, и хотя он приказал меня повесить – выпьем за здоровье адмирала.

– Адмирал приказал вас повесить? – воскликнул Мержи. – Но для повешенного вы очень бодры.

– Да, черта с два! Он приказал меня повесить, но я не злопамятен – и выпьем за его здоровье.

Раньше чем Мержи успел возобновить свои вопросы, капитан налил всем стаканы, снял шляпу и велел своим кавалеристам троекратно прокричать ура. Когда стаканы были опорожнены и шум стих, Мержи снова начал:

– За что же вы были повешены, капитан?

– За пустяк! Разграблен был монастыришко в Сент-Онже, потом случайно сгорел.

– Да, но не все монахи оттуда вышли, – прервал его корнет, хохоча во все горло над своей остроюй.

– Э! Что за важность, когда сгорят подобные каналы – немного раньше, немного позже. А адмирал между тем, поверите ли, господин де Мержи, адмирал всерьез рассердился; он велел меня арестовать, и великий профос наложил на меня руку без дальних околичностей. Тогда все приближенные его, дворяне и вельможи, вплоть до господина Ла-Ну, не отличающегося, как известно, особой нежностью к солдатам (Ла-Ну, как передают, всегда говорит «ну!» и никогда «тпру!»), все капитаны просили о моем помиловании, но он отказал наотрез! Всю зубочистку изжевал от ярости, а вы знаете поговорку: «Боже, избави нас от “Отче наш” господина де Монморанси и от зубочистки господина адмирала». «Мародерщину, – сказал он, – надо истреблять, прости Господи, пока она – девчонка, а если мы дадим ей вырасти в большую барыню, так она сама нас истребит». Тут пришел пастор с книжкой под мышкой, и нас ведут обоих под некий дуб... как теперь его вижу, – ветка вперед выдавалась, будто нарочно для этого выросла; на шею мне надевают веревку... всякий раз, как вспомню об этой веревке, так горло и пересохнет, словно трут...

– На, промочи, – сказала Мила и до краев наполнила стакан рассказчику.

Капитан залпом осушил его и продолжал следующим образом:

– Я уже смотрел на себя не более и не менее как на дубовый желудь, как вдруг мне пришлось в голову сказать адмиралу: «Эх, монсеньор, мыслимо ли так вешать человека, который при Дрё командовал “потерянными детьми”?» Вижу, он выплюнул зубочистку, за другую принялся. Я думаю: «Прекрасно, хороший знак!» Подозвал он капитана Кормье и что-то тихонько ему сказал. Потом обращается к палачу: «Ну, вздернуть этого человека!» И тут отвернулся. Меня в самом деле вздернули, но славный капитан Кормье выхватил шпагу и сейчас же разрубил веревку, так что я упал со своей ветки, красный, как вареный рак.

– Поздравляю вас, – сказал Мержи, – что вы так дешево отделались. – Он внимательно стал вглядываться в капитана и, казалось, испытывал некоторое смущение оттого, что находится в обществе человека, по справедливости заслужившего повешения, но в те злосчаст-

ные времена преступления совершались так часто, что почти не было возможности относиться к ним с такой строгостью, с какой отнеслись бы теперь. Жестокости, с одной стороны, как бы оправдывали меры подавления, и религиозная ненависть заглушала почти всякое чувство национальной приязни. Притом же, если говорить правду, тайные знаки внимания со стороны Милы, которую он начинал находить очень хорошенькой, и винные пары, оказывавшие на его молодые мозги большее действие, чем на привычные головы рейтаров, – все это внушало ему в эту минуту исключительную снисходительность к его застольным товарищам.

– Я больше недели прятала капитана в крытой повозке, – сказала Мила, – и позволяла выходить только по ночам.

– А я приносила ему пить и есть, – подхватила Трудхен, – он сам подтвердит это.

– Адмирал сделал вид, что страшно рассердился на Кормье, но все это была условленная между ними комедия. Что касается меня, то я долго следовал за войском, не осмеливаясь показаться на глаза адмиралу. Наконец, при осаде Лоньяка, он натолкнулся в окопе на меня и говорит: «Дитрих, дружище, раз ты не повешен, так будь расстрелян!» – и показывает мне на брешь. Я понял, что он хочет сказать, храбро пошел на приступ, а на следующий день предстал ему на главной улице, держа в руках простреленную шляпу. «Монсеньор, – говорю я ему, – расстрелян я так же, как и был повешен». Он улыбнулся и дал мне кошелек, прибавив: «Вот тебе на новую шляпу!» С тех пор мы сделались друзьями. Да, в Лоньяке... вот это был грабеж так грабеж! Вспомнить только – так слюнки потекут!

– Ах, какие чудные шелковые платья! – воскликнула Мила.

– Сколько прекрасного белья! – воскликнула Трудхен.

– Горячее было дело у монахинь главной обители! – сказал корнет. – Двести конных стрелков стали на постой к сотне монашенок!..

– Больше двадцати из них отступилось от папизма, – сказала Мила, – так по вкусу пришли им гугеноты.

– Стоило там посмотреть на моих аргулетов¹³, – воскликнул капитан, – идут поить лошадей, а сами в церковных ризах, овес кони ели на алтарях, а мы пивали славное церковное вино из серебряных причастных чаш!

Он повернул голову, чтобы еще потребовать вина, и увидел, что трактирщик сложил руки и поднял глаза к небу с выражением неопишемого ужаса.

– Дурак! – произнес храбрый Дитрих Горнштейн, пожимая плечами. – Можно ли быть таким глупым человеком, чтобы верить всем рассказам, что болтают папистские попы! Знаете, господин де Мержи, в сражении при Монконтуре я убил из пистолета какого-то дворянчика из свиты герцога д'Анжу; снял с него камзол – и что ж, думаете вы, нахожу у него на животе? Большой кусок шелка, весь покрытый именами святых. Он считал, что это предохранит его от пуля. Черта с два! Я доказал ему, что нет такой ладанки, которую не просверлила бы протестантская пуля.

– Да, ладанки, – вмешался корнет, – но у меня на родине больше в ходу кусочки пергамента, защищающие от свинца и железа.

– Я предпочел бы хорошо выкованный стальной панцирь, – заметил Мержи, – вроде тех, что в Нидерландах выделывает Яков Лешо.

– Послушайте, – снова начал капитан, – нельзя отрицать, что невозможно сделать себя неуязвимым. Уверяю вас, я сам видел в Дрё одного дворянина, которому пуля угодила прямо в середину груди: он знал рецепт мази, которая делает неуязвимым, и натерся ею под нагрудником из буйволовой шкуры: так вот, даже черного и красного знака не видно было, что остается после контузии.

¹³ Разведчики, легкие войска.

– А не думаете вы, что этого нагрудника из буйволово́й шкуры, о котором вы упоминали, было бы достаточно, чтобы обезвредить удар пули?

– Уж такие эти французы, ничему не хотят верить! А что бы вы сказали, если бы, как я, видели, как один силезский латник положил руку на стол, и как ни тыкали в нее ножом, царапины не могли сделать? Вы смеетесь? Думаете, что это невозможно? Спросите вот у этой девушки, у Мила. Она из страны, где колдуны так же часто встречаются, как здесь монахи. Она умеет рассказывать страшные истории. Бывало, в длинные осенние вечера, когда под открытым небом усядемся мы у костра, так она такие приключения нам рассказывает, что у меня волосы дыбом становятся.

– Я бы с восторгом послушал какую-нибудь из таких историй, – произнес Мержи, – красотка Мила, доставьте мне такое удовольствие.

– Да, правда, Мила, – поддержал капитан, – расскажи нам какую-нибудь историю, пока мы будем осушать эти бутылки.

– Ну, слушайте же! – сказала Мила. – А вы, молодой барин, который ни во что не верите, все ваши сомнения потрудитесь оставить при себе.

– Как можете вы говорить, что я ни во что не верю?! – ответил ей вполголоса Мержи. – Уверю вас, я верю в то, что вы меня приворожили, я уже совершенно влюблен в вас.

Мила тихонько его оттолкнула, так как губы Мержи почти касались ее щеки; и, бросив направо и налево беглый взгляд, чтобы удостовериться, что все ее слушают, она начала следующим образом:

– Капитан, вы, конечно, бывали в Гамельне?..

– Никогда.

– А вы, корнет?

– Тоже никогда.

– Что же, тут никого нет, кто бывал бы в Гамельне?

– Я провел там год, – сказал, подходя, какой-то кавалерист.

– Так видел ты, Фриц, гамельнский собор?

– Тысячу раз.

– И расписные окна в нем?

– Разумеется.

– А видел ты, что нарисовано на этих окнах?

– На этих окнах?.. На окне по левую сторону, по-моему, изображен высокий черный человек, он играет на флейте, а за ним бегут маленькие дети.

– Верно. Так вот, я вам и расскажу историю этого черного человека с маленькими детьми.

Много лет тому назад жители Гамельна страдали от неисчислимого множества крыс, которые шли с севера такими густыми стадами, что вся земля почернела от них и ямщики не осмеливались пересекать дорогу, по которой двигались эти крысы. Все было пожираемо в одну минуту, и съесть в амбаре бочку с зерном для этих крыс было таким же плевым делом, как для меня выпить стакан этого доброго вина.

Она выпила, утерлась и продолжала:

– Мышеловки, крысоловки, капканы, отравы – ничего не помогало. Из Бремена выписали баржу, нагруженную тысячью и сотней кошек, но ничего не действовало: тысячу истребят, десять тысяч является еще более голодных, чем первые. Короче сказать, не приди избавление от этого бича, ни одного зерна не осталось бы в Гамельне, и все жители умерли бы с голоду. И вот, в одну прекрасную пятницу, к городскому бургомистру является высокий человек, смуглый, сухощавый, с большими глазами, рот до ушей, одет в красный камзол, остроконечную шляпу, широкие штаны с лентами, серые чулки и башмаки с бантиками огненного цвета. На боку был кожаный мешочек. Я как живого его вижу перед собой.

Все невольно повернули глаза к стене, на которую пристально смотрела Мила.

– Значит, вы его видели? – спросил Мержи.

– Не я, но моя бабушка; и она так хорошо помнила его внешность, что могла бы нарисовать портрет.

– И что же он сказал бургомистру?

– Он предложил ему за сто дукатов избавить город от постигшей его беды. Само собой разумеется, что бургомистр и горожане сейчас же ударили по рукам. Тогда пришедший человек вынул из своей сумки бронзовую флейту и, встав на базарной площади перед собором, – но, заметьте, повернувшись к нему спиной, – начал играть такую странную мелодию, какой никогда не играл ни один немецкий флейтист. И вот, услышав эту мелодию, крысы и мыши из всех амбаров, из норок, из-под стропил, из-под черепиц на крышах сотнями, тысячами сбегались к нему. Незнакомец стал направляться к Везеру, все время продолжая играть на флейте; там он снял штаны и вошел в воду, а за ним и все гамельнские крысы, которые сейчас же и потонули. Во всем городе осталась одна только крыса, и вы сейчас увидите почему. Колдун – ведь он был колдун – спросил у одной отставшей крысы, которая еще не вошла в Везер: «А почему Клаус, седая крыса, еще не явилась?» – «Сударь, – ответила крыса, – она так стара, что не может ходить». – «Так иди сама за ней», – ответил колдун. И крыса пошла обратно в город, откуда она скоро и вернулась с большой седой крысой, такой уже старой, что она двигаться не могла. Крыса помоложе потащила старую за хвост, и обе вошли в Везер, где и потонули, как их товарки. Итак, город был от них очищен. Но когда незнакомец явился в ратушу за условленной платой, то бургомистр и горожане, сообразив, что крыс им теперь нечего бояться, а с человеком без покровителей можно и подешевле разделаться, не постыдились предложить ему десять дукатов вместо обещанной сотни. Незнакомец настаивал – они его послали к черту. Тогда он пригрозил, что он заставит их заплатить дороже, если они не будут придерживаться буквы договора. Горожане расхохотались на его угрозу и выставили его из ратуши, назвав *славным крысоловом*; кличку эту повторяли и городские ребятишки, бежавшие за ним по улицам вплоть до новых ворот. В следующую пятницу незнакомец снова появился среди базарной площади, на этот раз в шляпе пурпурного цвета, заломленной самым причудливым образом. Из сумки он вынул флейту, совсем другую, чем в первый раз, и как только заиграл на ней, так все мальчишки в городе от шести до пятнадцати лет последовали за крысоловом и вместе с ним вышли из города.

– И гамельнские жители так и позволили их увести? – спросили в один голос Мержи и капитан.

– Они их провожали до горы Коппенберг, где была пещера, теперь заваленная. Флейтист вошел в пещеру, и все дети за ним следом. Некоторое время слышны были звуки флейты, мало-помалу они затихали, и наконец все умолкло. Дети исчезли, и с тех пор о них ни слуху ни духу.

Цыганка остановилась, чтобы судить по лицам слушателей о впечатлении, произведенном ее рассказом.

Первым начал говорить рейтар, бывавший в Гамельне:

– История эта настолько достоверна, что, когда в Гамельне идет речь о каком-нибудь событии, всегда говорят: «Это случилось двадцать лет, десять лет спустя после ухода наших детей... Господин фон Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после ухода наших детей».

– Но всего любопытнее, – сказала Мила, – то, что в это же время, далеко оттуда, в Трансильвании, появились какие-то дети, хорошо говорившие по-немецки, которые не могли объяснить, откуда они пришли. Они поженились на месте и научили своих детей родному языку, откуда и пошло то, что в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

– Они и есть те гамельнские дети, которых дьявол туда перенес? – спросил Мержи с улыбкой.

– Небом клянусь, что это верно! – воскликнул капитан. – Я ведь бывал в Трансильвании и отлично знаю, что там говорят по-немецки, меж тем как вокруг лопочут на каком-то тарбарском языке.

Свидетельство капитана имело не меньший вес, чем многие другие доказательства.

– Хотите, я вам погадаю? – спросила Мила у Мержи.

– Пожалуйста, – ответил Мержи, обняв левой рукой за талию цыганку, меж тем как ладонь правой подставил ей для гаданья.

Мила минут пять рассматривала ее молча и от времени до времени задумчиво покачивала головой.

– Ну, дитя мое, получу ли я в любовницы женщину, которую я люблю?

Мила щелкнула его по руке.

– Счастье и несчастье; от голубого глаза – и зло, и добро. Хуже всего, что ты прольешь собственную свою кровь.

Капитан и корнет хранили молчание, по-видимому оба одинаково потрясенные зловещим концом предсказания. Трактирщик в сторонке размашисто крестился.

– Я поверил бы, что ты – настоящая колдунья, – сказал Мержи, – если бы ты могла сказать, что я сейчас сделаю.

– Поцелуешь меня, – прошептала ему на ухо Мила.

– Она колдунья! – воскликнул Мержи, целуя ее. Он продолжал тихонько беседовать с хорошенькой гадалщицей, и, по-видимому, с каждой минутой они все больше и больше столковывались.

Трудхен взяла мандолину, у которой почти все струны были целы, и начала немецким маршем. Затем, видя, что около нее кружком стоят солдаты, она спела на родном языке военную песню, припев которой рейтары подхватывали во все горло. Возбужденный ее примером, капитан тоже принялся петь таким голосом, что стекла едва не лопнули, старую гугенотскую песню, музыка которой по варварству могла поспорить со словами:

Наш доблестный Конде
В сырой лежит земле.
Но добрый адмирал,
С коня он не слезал;
Ему с Ларошфуко
Прогнать папистов легко,
Легко, легко, легко!

Все рейтары, возбужденные вином, затанули каждый свою песню. Пол покрылся осколками бутылок и битой посудой; кухня наполнилась ругательствами, хохотом и вакхическими напевами.

Скоро, однако, сон, которому способствовали пары орлеанских вин, дал почувствовать свою власть большинству из участников этой оргии. Солдаты улеглись по скамейкам; корнет, поставив у дверей двух часовых, шатаясь поплелся к своей постели; капитан, не потерявший еще чувства прямой линии, не лавируя, поднялся по лестнице, которая вела в комнату самого хозяина, которую гость выбрал для себя как самую лучшую в гостинице.

А Мержи с цыганкой? Они оба исчезли раньше, чем капитан начал петь.

II. На следующий день после пирушки

*Носильщик. Говорю вам, что хочу получить деньги сейчас же.
Мольер. Смешные жеманницы, сцена 7*

Солнце уже давно встало, когда проснулся Мержи с не совсем свежей от воспомина- ний вчерашнего вечера головой. Платье его валялось разбросанным по комнате, чемодан был открыт и стоял на полу. Он сел, не спуская ног, и некоторое время созерцал эту картину беспорядка, потирая лоб, словно для того, чтобы собраться с мыслями. Черты его выражали одно- временно усталость, удивление и беспокойство.

На каменной лестнице, ведущей в его комнату, раздались тяжелые шаги. В двери даже не соблаговолили постучать, – они прямо открылись, и вошел трактирщик с еще более нахму- ренной физиономией, чем накануне; но во взгляде его легко было прочесть наглость вместо прежнего страха. Он окинул взором комнату и перекрестился, словно его охватил ужас при виде такого беспорядка.

– Ах, молодой барин, – воскликнул он, – вы еще в постели? Пора вставать: нам надо с вами сосчитаться.

Мержи зевнул ужасающим образом и выставил одну ногу.

– Почему такой беспорядок? Почему мой чемодан открыт? – спросил он тоном, не менее недовольным, чем тон хозяина.

– Почему? Почему? – ответил тот. – А я почем знаю? Мне дела нет до вашего чемодана! Вы в моем доме устроили еще худший беспорядок. Но, клянусь моим покровителем святым Евстахием, вы мне за это заплатите!

Покуда он говорил, Мержи надевал свои пунцовые штаны, из незастегнутого кармана которых от движения выпал его кошелек. Вероятно, ему показалось, что тот иначе брякнул, чем он ожидал, потому что тот сейчас же тревожно его подобрал и открыл.

– Меня обокрали! – воскликнул он, оборачиваясь к хозяину.

Вместо двадцати золотых экю, находившихся в его кошельке, оставалось только два.

Дядя Эсташ пожал плечами с презрительной улыбкой.

– Меня обокрали! – повторил Мержи, торопливо завязывая пояс. – У меня было двадцать золотых экю в этом кошельке, и я желаю получить их обратно; их стащили у меня в вашем доме.

– Я от души рад этому, провалиться мне на месте! – нагло воскликнул хозяин. – Это вас научит, каково якшаться с ведьмами и воровками. Впрочем, – прибавил он, понижая голос, – рыбак рыбака видит издалека. Вся эта палачная пожива: еретики, колдуны и воры всегда вместе хороводятся.

– Что ты толкуешь, негодяй! – закричал Мержи, рассерженный тем сильнее, что в душе он чувствовал справедливость упреков, и, как всякий человек, который не прав, привязывался к предлогу для ссоры.

– Я толкую, – отвечал трактирщик, подбочениваясь, – я толкую, что вы все у меня в доме переломали, и требую, чтобы вы мне заплатили за убытки до последнего су.

– Свою долю я заплачу, и ни гроша больше. Где капитан Корн... Горнштейн?

– У меня выпито, – продолжал все громче кричать дядя Эсташ, – у меня выпито больше двух сотен бутылок хорошего старого вина, и вы ответите мне за это!

Мержи совсем оделся.

– Где капитан? – закричал он громовым голосом.

– Два часа, как убрался. И пусть бы он убрался к черту со всеми гугенотами, пока мы их всех не сожжем.

Здоровая оплеуха была единственным ответом, который в данную минуту нашелся у Мержи.

Сила и неожиданность удара заставили трактирщика отступить на два шага. Из кармана его штанов высовывалась костяная ручка большого ножа; он потянулся к ней. Несомненно, произошло бы какое-нибудь большое несчастье, уступи он первому движению гнева. Но благоразумие одержало верх над яростью, и он заметил, что Мержи протягивает руку к длинной шпаге, висевшей над изголовьем кровати. Он сейчас же отказался от неравного боя и стремглав бросился вниз по лестнице, крича во все горло:

– Караул! Убивают! Жгут!

Оставшись хозяином поля битвы, но сильно беспокоясь за последствия своей победы, Мержи застегнул свой пояс, засунул за него пистолеты, запер чемодан и, взяв его в руки, решил идти с жалобой к ближайшему судье. Он открыл дверь и ступил на первую ступеньку, как вдруг внезапно перед его глазами предстала целая толпа врагов.

Впереди шел трактирщик со старым бердышом в руке, вслед за ним три поваренка, вооруженные вертелами и палками; арьергард составлял какой-то сосед с аркебузой. Ни та ни другая сторона не ожидала такого быстрого столкновения. Каких-нибудь пять-шесть ступеней отделяли друг от друга враждующие стороны.

Мержи выпустил из рук чемодан и схватился за пистолет. Враждебное это движение дало понять дяде Эсташу и его спутникам, насколько несовершенно их боевое расположение. Как персы при Саламине, они не позаботились выбрать такой строй, который позволил бы им выгодно использовать численное преимущество. Единственный человек из их отряда, обладавший огнестрельным оружием, не мог им пользоваться без того, чтобы не ранить находившихся впереди товарищей, между тем как пистолеты гугенота, казалось, могли уложить их всех одним выстрелом вдоль лестницы. До их слуха донеслось, как щелкнул тихонько курок, взведенный Мержи, и звук этот показался им таким страшным, как самый выстрел. Естественным движением неприятельская колонна сделала полный оборот и побежала искать в кухне более обширное и благоприятное для себя поле сражения. Во время беспорядка, неразрывного с ускоренным отступлением, хозяин, хотевший повернуть бердыш, попал им себе между ног и свалился. Как противник великодушный, не устаивающий пустить в ход оружие, Мержи ограничился тем, что бросил в беглецов своим чемоданом, который, обрушившись на них, как обломок скалы, с каждой ступеньки ускоряя свое движение, dokonчил разгром. Лестница очистилась от неприятеля, и в виде трофея остался сломанный бердыш.

Мержи быстро спустился в кухню, где враг уже перестроился в одну линию. Владелец аркебузы держал свое оружие наготове и раздувал зажженный фитиль. Хозяин, весь в крови, так как при падении сильно расквасил нос, держался позади своих приятелей, подобно раненому Менелаю, находившемуся в задних рядах греков. Вместо Махаона и Подалирия его жена, с распущенными волосами и развязавшимся головным убором, вытирала ему лицо грязной салфеткой.

Мержи без колебаний принял решение. Он прямо подошел к человеку, державшему аркебузу, и приставил ему к груди дуло пистолета.

– Брось фитиль или ты умрешь! – кричал он.

Фитиль упал на пол, и Мержи, наступив сапогом на конец дымящегося жгута, потушил его. Остальные союзники сейчас же все в одно время сложили оружие.

– Что касается вас, – обратился Мержи к хозяину, – маленькое наказание, что вы от меня получили, научит вас, конечно, повежливее обращаться с проезжающими. Стоит мне захотеть – и местный уездный судья снимет вашу вывеску; но я не злопамятен. Ну, сколько же я вам должен за свою долю?

Дядя Эсташ, заметив, что тот спустил курок своего ужасного пистолета и даже засунул этот последний во время разговора себе за пояс, немного приободрился и, утирая лицо, печально пробормотал:

– Побить посуду, поколотить людей, расквасить нос добрым христианам... подымать шум, как черти... я не знаю, в конце концов, чем можно вознаградить честного человека.

– Постойте, – прервал его Мержи, улыбаясь, – за ваш расквашенный нос я заплачу вам столько, сколько, по-моему, он стоит. За разбитую посуду – обращайтесь к рейтарам, это их рук дело. Остается выяснить, сколько я вам должен за свой вчерашний ужин.

Хозяин посмотрел на жену, поварят и соседа, как бы ища у них в одно и то же время совета и покровительства.

– Рейтары, рейтары! – промолвил он. – Не легкое дело получить с них деньги; их капитан дал мне три ливра, а корнет – пинок ногою.

Мержи взял одно из оставшихся у него золотых экю.

– Ну, – сказал он, – расстанемся по-хорошему. – И он бросил дяде Эсташу монету, но тот, вместо того чтобы подставить руку, пренебрежительно дал ей упасть на пол.

– Одно экю! – воскликнул он. – Экю за сотню разбитых бутылок! Одно экю за разорение всего дома! Одно экю за побои!

– Одно экю! Всего одно экю! – подхватила жена жалобным тоном. – Случается, что приезжают сюда и католические господа; иногда пошумят, но по крайней мере те цену вещам знают.

Если бы кошелек у Мержи был в лучшем состоянии, он, несомненно, поддержал бы репутацию своих единомышленников как людей щедрых.

– В час добрый! – сухо ответил он. – Но католические эти господа не были обворованы. Ну, решайте, – прибавил он, – принимайте это экю, а то ничего не получите. – И он сделал движение, как будто хотел взять его обратно.

Хозяйка сейчас же подобрала монету.

– Ну! Пускай выведут мне лошадь! А ты там брось свой вертел и вынеси мой чемодан.

– Вашу лошадь, барин? – переспросил один из рабочих дяди Эсташа и сделал гримасу.

Хозяин, несмотря на огорчение, поднял голову, и глаза его на минуту блеснули злорадством.

– Я сам сейчас вам ее выведу, барин; я сейчас вам выведу вашу славную лошадку! – И он вышел, продолжая держать у носа салфетку.

Мержи вышел за ним следом.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасной рыжей лошади, на которой он приехал, он увидел пегую клячку с засекшимся коленом, вдобавок еще обезображенную широким шрамом на голове! Вместо своего седла из тонкого фландрского бархата он увидел кожаное седло, обитое железом, – одним словом, обыкновенное солдатское седло.

– Что это значит? Где же моя лошадь?

– Пусть ваша честь потрудится спросить об этом у господ протестантских рейтаров, – ответил хозяин с напускным смирением, – достойные эти гости увели ее вместе с собой; надо думать, обознались они – очень похожа.

– Знатный конь! – проговорил один из поварят. – Бьюсь об заклад, что ему не больше двадцати лет.

– Никто не будет отрицать, что это боевой конь, – сказал другой, – посмотрите, какой сабельный удар получил он по лбу.

– И масть славная! – подхватил третий. – Что твой протестантский пастор: белая с черным.

Мержи вошел в конюшню; она была пуста.

– Как же вы допустили, чтобы мою лошадь увели? – закричал он в бешенстве.

– О Господи, барин! – сказал работник, на попечении которого была конюшня. – Ее увел трубач и сказал, что вы уговорились с ним поменяться.

Мержи задыхался от гнева; в такой беде он не знал, с кого спрашивать.

– Поеду отыщу капитана, – проворчал он сквозь зубы, – и он строго взыщет с негодяя, который меня обворовал.

– Конечно, – сказал хозяин, – ваша честь хорошо сделают. У этого капитана... как бишь его фамилия?.. у него всегда было лицо вполне порядочного человека.

Мержи в уме уже решил, что кража совершена с соизволения, если и не по приказу самого капитана.

– Вы могли бы воспользоваться случаем при этом, – добавил хозяин, – вы могли бы вернуть и свои золотые экю от этой молодой барышни; она, наверное, ошиблась, на рассвете связывая свои узлы.

– Прикажете привязать чемодан вашей милости к лошади вашей милости? – спросил конюх самым почтительным и приводящим в отчаяние тоном.

Мержи понял, что чем дольше он будет здесь оставаться, тем дольше ему придется подвергаться издевательствам этих каналов. Чемодан был уже привязан; он вскочил в скверное седло; но лошадь, почувствовав нового седока, возымела коварное желание испытать его познания в верховой езде. Вскоре, однако, она заметила, что имеет дело с превосходным наездником, менее всего расположенным в данную минуту переносить ее милые шуточки; брыкнувшись несколько раз задними ногами, за что щедро была награждена сильными ударами весьма острых шпор, она благоразумно решила подчиниться и пуститься крупной рысью в путь. Но часть своей силы она уже истощила в борьбе с седоком, и с ней случилось то, что случается со всеми клячами в подобных случаях. Она упала разбитая, как говорится, на все четыре ноги. Наш герой сейчас же поднялся на ноги, слегка помятый, но, главное, взбешенный улюлюканием, сейчас же раздавшимся по его адресу. С минуту он даже колебался, не пойти ли наказать насмешников ударами шпаги плашмя, но, по здравом размышлении, ограничился тем, что сделал вид, будто не слышит оскорблений, несшихся к нему издали, и медленно поехал снова по Орлеанской дороге, преследуемый на расстоянии ватагой ребятишек; те, что постарше, пели песню о *Жане Петакене*¹⁴, а малыши кричали изо всех сил:

– Бей гугенота! Бей гугенота! На костер!

Проковыляв довольно печально около полуверсты, он подумал, что рейтаров он сегодня едва ли догонит, что лошадь его, наверно, уже продана, что, в конце концов, более чем сомнительно, чтобы эти господа согласились ее вернуть. Мало-помалу он примирился с мыслью, что лошадь его пропала безвозвратно; и так как, допустив такое предположение, он не имел никакой надобности в Орлеанской дороге, он снова пустился по парижской, или, вернее сказать, по проселку, чтобы избежать необходимости проезжать мимо злополучной гостиницы, свидетельницы его злоключений. Так как он с ранних лет приучился во всех событиях жизни находить хорошие стороны, то мало-помалу пришел к убеждению, что, в сущности, он счастливо и дешево отделался: его могли бы дочиста обокрасть, может быть, даже убить, а между тем ему оставили еще одно золотое экю, почти все его пожитки и лошадь, правда безобразную, но на которой можно все-таки ехать. Сказать откровенно, воспоминание о хорошенькой Миле не раз вызывало у него улыбку. Короче, после нескольких часов дороги и хорошего завтрака он почти был тронут деликатностью этой честной девушки, взявшей только восемнадцать экю из кошелька, в котором их было двадцать. Труднее было ему примириться с потерей своего славного рыжака, но он не мог не согласиться, что вор более закоренелый, чем трубач, увел бы его лошадь, не оставив никакой в замену.

¹⁴ Комический персонаж старинной народной песни.

Вечером он приехал в Париж незадолго до закрытия ворот и остановился в гостинице на улице Сен-Жак.

III. Придворная молодежь

*Jachimo. The ring is won.
Posthumus. The stone's too hard to come by.
Jachimo. Not a whit,
Your lady being so easy.*
Shakespeare. Cymbeline, II, 4

*Иахимо. Кольцо – мое.
Постумий. Добыть трудненько камень.
Иахимо. Пустяки! Поможет мне супруга ваша.*
Шекспир. Цимбелин, II, 4

Отправляясь в Париж, Мержи надеялся заручиться влиятельными рекомендациями к адмиралу Колиньи и получить службу в армии, которая собиралась, по слухам, выступить в поход во Фландрию под предводительством этого великого полководца. Он льстил себя надеждой, что друзья его отца, к которым он вез письма, поддержат его хлопоты и доставят ему доступ ко двору Карла и к адмиралу, у которого тоже было подобие двора. Мержи знал, что брат его пользуется некоторым влиянием, но еще далеко не решил, следует ли его отыскивать. Отречение Жоржа де Мержи почти окончательно отделило его от семьи, для которой он сделался совсем чужим человеком. Это был не единственный пример семейного раскола на почве религиозных убеждений. Уже давно отец Жоржа запретил в своем присутствии произносить имя *отступника*, приводя в подтверждение своей строгости евангельский текст: «*Если правое твое око соблазняет тебя, вырви его*». Хотя молодой Бернар не вполне разделял такую непреклонность, тем не менее перемена религии казалась ему позорным пятном на их семейной чести, и, естественно, чувства братской нежности должны были пострадать от такого мнения.

Раньше, чем он пришел к какому-нибудь решению, как себя вести по отношению к брату, раньше даже, чем он успел разнести рекомендательные письма, он подумал, что нужно позаботиться о том, как бы пополнить свой пустой кошелек, и с такую целью он вышел из своей гостиницы и собирался пойти к золотых дел мастеру с моста Сен-Мишель, который был должен известную сумму его семейству, на получение какой-то у него была доверенность.

При входе на мост он встретился с несколькими молодыми людьми, очень изящно одетыми, которые, взявшись за руки, загораживали почти совершенно узкий проход, оставленный на мосту между множеством лавок и ларьков, подымавшихся двумя параллельными стенами и целиком закрывавших от прохожих вид на реку. Позади этих господ шли их лакеи; у каждого в руках была длинная обоюдоострая шпага в ножнах, так называемая дуэль, и кинжал, чашка которого была так широка, что при случае могла служить щитом. Вероятно, вес этого оружия казался слишком тяжелым для этих молодых господ; а может быть, они были рады показать всему свету, что у них есть богато одетые лакеи.

По-видимому, они находились в хорошем настроении, по крайней мере если судить по непрерывным взрывам смеха. Если мимо них проходила прилично одетая женщина, они ей кланялись полупочтительно-полунагло; между тем большинству из этих повес доставляло удовольствие грубо толкать серьезных горожан в черных плащах; те отходили в сторону, вполголоса проклиная нахальство придворных людей. Один из компании шел опустив голову и, казалось, не принимал никакого участия в общих развлечениях.

– Порази меня Бог, Жорж, – воскликнул один из молодых людей, хлопая его по плечу, – ты делаешься невозможным букой! Вот уже целых четверть часа, как ты рта не раскрыл. Ты хочешь сделаться молчаливым, что ли?

Мержи вздрогнул при имени Жорж, но он не расслышал, что ответило лицо, названное этим именем.

– Ставлю сто пистолей, – продолжал первый, – что он все еще влюблен в какое-нибудь чудовище добродетели. Бедный друг мой, жалею я тебя. Нужно иметь большую неудачу, чтобы в Париже попасть на неприступную красавицу!

– Пойди к магику Рюдбеку, – заговорил другой, – он даст тебе приворотное питье, чтобы тебя полюбили.

– А может быть, – начал третий, – а может быть, наш друг капитан влюблен в монахиню. Эти черти гугеноты, обращенные или необращенные, что-то имеют против невест Христовых.

Голос, который Мержи сейчас же узнал, отвечал с грустью:

– Черт возьми! Если бы дело шло только о любовных делах, я не был бы так печален. Но, – прибавил он тише, – я поручил де Пону отвезти письмо к моему отцу. Он вернулся и передал мне, что тот упорствует и не желает слышать обо мне.

– Твой отец старой закваски, – сказал один из молодых людей, – он – один из старых гугенотов, которые еще собирались взять Амбуаз.

В эту минуту капитан Жорж случайно обернулся и заметил Мержи.

Вскрикнув от удивления, он бросился к нему с распростертыми объятиями. Мержи ни минуты не колебался: он протянул ему руки и прижал его к своей груди. Будь встреча не столь неожиданной, он, может быть, попытался бы вооружиться равнодушием, но непредвиденность восстановила все права природы. После этой первой минуты их встреча протекала как встреча друзей, не видевшихся после долгих странствий.

После объятий и первых расспросов капитан Жорж обернулся к своим друзьям, часть которых остановилась и наблюдала эту сцену.

– Господа, – сказал он, – видите, какая неожиданная встреча! Простите меня, если я вас покину, чтобы побеседовать с братом, с которым я не видался более семи лет.

– Нет, черт возьми, мы и слышать не хотим, чтобы ты сегодня не был с нами. Обед заказан, ты должен в нем участвовать. – Говоривший таким образом в то же время схватил его за плащ.

– Бевиль прав, – сказал другой, – и мы тебя не отпустим.

– Какого черта! – снова начал Бевиль. – Пускай твой брат идет с нами обедать. Вместо одного приятного сотрапезника мы получим двоих.

– Простите, – сказал тогда Мержи, – у меня много дел, которые нужно сегодня же окончить. Я должен передать несколько писем.

– Вы передадите их завтра.

– Необходимо передать их сегодня... К тому же... – продолжал Мержи, улыбаясь с некоторым смущением, – признаюсь, я без денег и мне нужно идти их доставать.

– По чести, славная отговорка! – воскликнули все в один голос. – Мы никак не допустим, чтобы вы отказались отобедать с истинными христианами вроде нас и вместо этого пошли занимать деньги к евреям.

– Пожалуйста, друг мой! – произнес Бевиль, подчеркнуто потряхивая длинным шелковым кошельком, засунутым за пояс. – Считайте меня своим казначеем. Последние две недели мне здорово везло в кости.

– Идем! Идем! Не останавливаться! Идем обедать к «Мавру», – подхватили остальные молодые люди.

Капитан взглянул на своего брата, все еще остававшегося в нерешительности.

– Пустяки! Ты найдешь время передать свои письма. Что же касается денег, то у меня их вдоволь. Так идем с нами! Ты познакомишься с парижской жизнью.

Мержи уступил настояниям. Брат представил его по очереди своим друзьям: барону де Водрейлю, шевалье де Рейнси, виконту де Бевиллю и прочим. Они засыпали вновь прибывшего

любезностями, причем ему пришлось со всеми по очереди перецеловаться. Последним поцеловался с ним Бевиль.

– Ого! – воскликнул он. – Разрази меня Бог! Приятель, я чувствую, пахивает еретиком. Ставлю золотую цепь против одной пистолы, что вы – протестант.

– Вы правы, сударь, но не такой хороший протестант, как следовало бы.

– Ну что, умею я из тысячи узнать гугенота? Волк меня заешь, какой серьезный вид принимают господа кальвинисты, когда заговорят о своей вере.

– Мне кажется, никогда не следовало бы говорить шутя о таких вещах.

– Господин де Мержи прав, – сказал барон де Водрейль, – а с вами, Бевиль, непременно стряется какая-нибудь беда за ваши неуместные шутки над священными вещами.

– Посмотрите только на этот святой лик! – сказал Бевиль, обращаясь к Мержи. – Он самый отъявленный распутник изо всех нас, а между тем от времени до времени принимается нам читать проповеди.

– Оставьте меня таким, каков я есть, Бевиль, – ответил Водрейль. – Я распутник, потому что не могу победить свою плоть; но по крайней мере я уважаю то, что достойно уважения.

– А я весьма уважаю... свою мать. Это единственная честная женщина, какую я знал. К тому же, мой милый, для меня все равно: католики, гугеноты, паписты, евреи, турки. Меня их споры интересуют, как сломанная шпора.

– Нечестивец! – проворчал Водрейль и перекрестил свой рот, тщательно стараясь прикрыть это движение носовым платком.

– Нужно тебе сказать, Бернар, – сказал капитан Жорж, – что между нами ты едва ли встретишь таких спорщиков, как наш ученый Теобальд Вольфштейниус. Мы не придаем большого значения богословским беседам и, слава Богу, находим лучшее применение своему времени.

– Быть может, – ответил Мержи с некоторой горечью, – быть может, для тебя было бы полезнее прислушиваться внимательно к ученым рассуждениям достойного священнослужителя, которого ты только что назвал.

– Довольно об этом, братишка; в другое время я, может быть, с тобой об этом возобновлю разговор. Я знаю, что твое мнение обо мне... Ну, все равно... сюда мы собрались не для подобных разговоров... Я считаю себя порядочным человеком, и ты, конечно, со временем это увидишь... Ну, довольно об этом, теперь будем думать только о развлечении.

Он провел рукой по лбу, как будто отгоняя тягостные мысли.

– Дорогой брат мой! – тихонько сказал Мержи, пожимая ему руку. Жорж ответил ему на пожатие, и оба поспешили присоединиться к своим товарищам, опередившим их на несколько шагов.

Проходя мимо Лувра, из которого выходило множество богато одетых лиц, капитан и его друзья почти со всеми знатными господами, которые им встречались, обменивались поклонами или поцелуями.

В то же время они представляли им молодого Мержи, который, таким образом, в одну минуту познакомился с бесконечным количеством знаменитых людей своей эпохи. В то же время он узнавал их прозвища (тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку), равно как и скандальные слухи, распускавшиеся про них.

– Видите, – говорили ему, – этого советника, такого бледного и желтого. Это мессер *Petrus de finibus*¹⁵, по-французски – Пьер Сегье, который во всех делах, что он предпринимает, ведет себя так ловко, что достигает желанного конца. Вот капитанчик Егоза, Торе де Монморанси; вот Бутылочный архиепископ, который довольно прямо сидит на своем муле, пока не пообедал. Вот один из героев вашей партии, храбрый граф де Ларошфуко, прозванный капустным истре-

¹⁵ Петр, цели достигающий (лат.).

бителем. В последнюю войну он из аркебуз обстрелял несчастный капустный огород, приняв его сослепу за ландскнехтов.

Менее чем в четверть часа он узнал имена любовников почти всех придворных дам и количество дуэлей, возникших из-за их красоты. Он увидел, что репутация дамы находилась в зависимости от числа смертей, причиненных ею; так, г-жа де Куртавель, любовник которой уложил на месте двух соперников, пользовалась куда большей славой, чем бедная графиня де Померанд, послужившая поводом к единственной маленькой дуэли, окончившейся легкой раной.

Внимание Мержи привлекла женщина статного роста, ехавшая в сопровождении двух лакеев на белом муле, которого вел конюх. Платье ее было по новейшей моде и все топорщилось от множества шитья. Насколько можно было судить, она была красива. Известно, что в ту эпоху дамы выходили обязательно с маской на лице – у нее была черная бархатная маска; судя по тому, что было видно в отверстия для глаз, можно было заключить или, вернее, предположить, что кожа у нее должна быть ослепительной белизны и глаза темно-синие.

Проезжая мимо молодых людей, она задержала шаг своего мула; казалось даже, что она с некоторым вниманием посмотрела на Мержи, лицо которого было ей незнакомо. При ее проезде люди видели, как перья всех шляп касались земли, а она грациозно наклоняла голову в ответ на многочисленные приветствия, которые слал ей строй поклонников, сквозь который она следовала. Когда она уже удалялась, легкий порыв ветра приподнял подол ее длинного шелкового платья, и как молния блеснула маленькая туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.

– Кто эта дама, которой все кланяются? – спросил Мержи с любопытством.

– Уже влюбился! – воскликнул Бевиль. – Впрочем, иначе и быть не может: гугеноты и паписты все влюблены в графиню Диану де Тюржи.

– Это одна из придворных красавиц, – добавил Жорж, – одна из самых опасных цирцей для нас, молодых ухаживателей. Но, черт! Крепость эту взять не шутка.

– Сколько же за ней считается дуэлей? – спросил со смехом Мержи.

– О! Она иначе не считает, как десятками, – ответил барон де Водрейль, – но лучше всего то, что она сама захотела драться. Она послала форменный вызов одной придворной даме, которая перебила ей дорогу.

– Какие сказки! – воскликнул Мержи.

– В наше время она не первая дерется на дуэли. Она послала по всем правилам вызов Сент-Фуа, приглашая ее на смертный поединок, на шпагах и кинжалах, в одних рубашках, как это делают *заправские* дуэлянты.

– Хотел бы я быть секундантом одной из этих дам, чтобы посмотреть обеих их в рубашках, – сказал шевалье де Рейнси.

– И дуэль состоялась? – спросил Мержи.

– Нет, – ответил Жорж, – их помирили.

– Он же их и помирил, – заметил Водрейль, – он был тогда любовником Сент-Фуа.

– Фи! Не больше, чем ты! – очень скромно ответил Жорж.

– Тюржи вроде Водрейля, – заговорил Бевиль, – она делает крошку из религии и современных нравов; хочет драться на дуэли, что, насколько мне известно, смертный грех, и каждый день выстаивает по две обедни.

– Оставь меня в покое с твоей обедней! – воскликнул Водрейль.

– Ну, к обедне она ходит, – вступился Рейнси, – для того, чтобы показаться без маски.

– Я думаю, потому за обедней и бывает так много женщин, – заметил Мержи, обрадовавшись, что нашел случай посмеяться над религией, к которой не принадлежал.

– Совсем так, как и на протестантских проповедях! – сказал Бевиль. – Когда кончается проповедь, тушат свет, и хорошенькие вещи тогда происходят, черт возьми! Это возбуждает во мне сильное желание сделаться лютеранином.

– И вы верите таким нелепицам? – возразил презрительно Мержи.

– Как же не верить! Маленький Ферран, которого мы все знаем, ходил в Орлеане на протестантскую проповедь, чтобы иметь свидание с женой нотариуса, великолепной женщиной, ей-богу! У меня слюнки текли от одних его рассказов о ней. Он только там и мог с ней видаться. К счастью, один из его друзей, гугенот, сообщил ему условное место для прохода; он пришел на проповедь – и потом в темноте, можете полагать, приятель наш времени даром не терял.

– Это невозможно, – сухо сказал Мержи.

– Почему невозможно?

– Потому что никогда протестант не будет так низок, чтобы привести паписта к нам на проповедь.

Ответ этот возбудил взрывы смеха.

– Ха-ха! – сказал барон де Водрейль. – Вы полагаете, что раз человек гугенот, так он не может быть ни вором, ни изменником, ни посредником в любовных делах.

– Он с луны упал! – воскликнул Рейнси.

– Что касается меня, – заметил Бевиль, – так, если бы мне нужно было передать любовную записочку какой-нибудь гугенотке, я бы обратился к их священнику.

– Без сомнения, потому, – ответил Мержи, – что вы привыкли вашим священникам давать подобные поручения.

– Нашим священникам!.. – сказал Водрейль, краснея от гнева.

– Бросьте эти скучные споры, – прервал их Жорж, заметив оскорбительную горечь каждого выпада, – оставим ханжей всех сект. Я предлагаю: пусть каждый, кто произнесет слова: «гугенот», «папист», «протестант», «католик», – платит штраф!

– Идет! – воскликнул Бевиль. – Ему придется угостить нас прекрасным кагором в гостинице, куда мы едем обедать.

С минуту помолчали.

– После смерти этого бедняги Ланнуа, убитого под Орлеаном, у Тюржи не было открытого любовника, – сказал Жорж, не желавший оставлять своих друзей застывать на богословских темах.

– Кто посмеет утверждать, что у парижской женщины нет любовника? – воскликнул Бевиль. – Верно то, что Коменж не отстает от нее ни на шаг.

– То-то маленький Наварет отступился, – сказал Водрейль, – он испугался такого грозного соперника.

– Значит, Коменж ревнив? – спросил капитан.

– Ревнив, как тигр, – ответил Бевиль, – и готов убить всякого, кто посмеет полюбить прекрасную графиню; так что в конце концов, чтобы не остаться без любовника, ей придется взять Коменжа.

– Кто же такой этот опасный человек? – спросил Мержи, который, сам того не замечая, с живейшим любопытством относился ко всему, что так или иначе касалось графини де Тюржи.

– Это, – ответил ему Рейнси, – один из самых пресловутых наших *заправских хватов*; я охотно объясню вам, как провинциалу, значение этого слова. Заправский хват – это доведенный до совершенства светский человек – человек, который дерется на дуэли, если другой заденет его плащом, если в четырех шагах от него плюнут или по любому столь же законному поводу.

– Коменж, – сказал Водрейль, – как-то раз затащил одного человека на Пре-о-Клер¹⁶; снимают камзолы, обнажают шпаги. «Ведь ты – Берни из Оверни?» – спрашивает Коменж. «Ничуть не бывало, – отвечает тот, – моя фамилия Вилькье, и я из Нормандии». – «Тем хуже, – отвечает Коменж, – я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, нужно драться». И он bravо его убил.

Каждый привел какой-нибудь пример ловкости или воинственного нрава Коменжа. Тема была богатая, и этого разговора хватило на столько времени, что они вышли за город, к гостинице «Мавр», расположенной посреди сада, недалеко от места, где шла постройка замка Тюильри, начатая в 1564 году. Там сошлось много знакомых Жоржа и его друзей-дворян, и за стол сели большой компанией.

Мержи, сидевший рядом с бароном де Водрейлем, заметил, как, садясь за стол, тот перекрестился и, закрыв глаза, пробормотал следующую странную молитву:

«*Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis et beata viscera virginis Mariae, quae portaverunt Aeterni Patris Filium*»¹⁷.

– Вы знаете латынь, господин барон? – спросил у него Мержи.

– Вы слышали мою молитву?

– Да, но, признаться, не понял ее.

– Сказать по правде, я не знаю латыни и не слишком хорошо понимаю, что означает эта молитва; но меня научила ей одна из моих тетюшек, которой эта молитва всегда помогала, и, с тех пор как я ею пользуюсь, она оказывает только хорошее действие.

– Вероятно, это латынь католическая, и потому для нас, гугенотов, она непонятна.

– Штраф! Штраф! – закричали разом Бевиль и капитан Мержи.

Мержи подчинился без спора, и на стол поставили новые бутылки, не замедлившие привести компанию в хорошее настроение.

Вскоре разговор принял более громкий характер, и Мержи, воспользовавшись шумом, начал беседовать с братом, не обращая внимания на то, что происходило вокруг.

К концу второй смены блюд их *a paste*¹⁸ было нарушено неистовым спором, только что поднявшимся меж двумя из сотрапезников.

– Это – ложь! – закричал шевалье де Рейнси.

– Ложь? – повторил Водрейль. И лицо его, бледное от природы, совсем помертвело.

– Она самая добродетельная, самая чистая из женщин, – продолжал шевалье.

Водрейль, горько улыбнувшись, пожал плечами. Взоры всех были устремлены на действующих лиц этой сцены, и все, казалось, соблюдая молчаливый нейтралитет, ожидали, чем кончится ссора.

– В чем дело, господа? Из-за чего такой шум? – спросил капитан, готовый, по своему обыкновению, противиться всякой попытке к нарушению мира.

– Да вот наш друг шевалье, – спокойно ответил Бевиль, – уверяет, что Силери, его любовница, чистая женщина, между тем как наш друг Водрейль утверждает обратное, зная за ней кой-какие грешки.

Общий взрыв смеха, сейчас же поднявшийся после такого объяснения, усилил ярость де Рейнси, с бешенством смотревшего на Водрейля и Бевиля.

– Я мог бы показать ее письма, – сказал Водрейль.

– Ты не сделаешь этого! – закричал шевалье.

¹⁶ Луг Пре-о-Клер – классическое место для дуэлей в те времена. Пре-о-Клер находился против Лувра, между улицей Малых августинцев и улицей Бак.

¹⁷ «Хвала Господу, мир живущим, покойным спасение, и блаженно чрево Приснодевы Марии, что носило сына предвечного Отца» (лат.).

¹⁸ Разговор между собой (лат.).

– Ну что же! – произнес Водрейль, засмеявшись недобрым смехом. – Я сейчас прочту этим господам какое-нибудь из ее писем. Может быть, им известен ее почерк так же хорошо, как и мне; я вовсе не претендую на то, чтобы быть единственным человеком, осчастливленным ее записками и ее милостями. Вот, например, записка, которую я получил от нее не далее как сегодня. – Он сделал вид, будто шарит в кармане, желая достать оттуда письмо.

– Ты лжешь, лживая глотка!

Стол был слишком широк, и рука барона не смогла коснуться противника, сидевшего напротив.

– Я так вобью тебе обратно в глотку это оскорбление, что ты задохнешься! – закричал он.

В подтверждение своих слов он запустил ему в голову бутылкой. Рейнси уклонился от удара и, впопыхах опрокинув стул, побежал к стене, чтобы снять висевшую там шпагу.

Все поднялись: одни – чтобы помешать драке, большинство – чтобы не попасть под руку.

– Перестаньте! Вы с ума сошли! – закричал Жорж, становясь перед бароном, находившимся всего ближе от него. – Могут ли друзья драться из-за какой-то несчастной бабенки?

– Пустить бутылкой в голову – все равно что дать пощечину, – холодно заметил Бевиль. – Ну, дружок шевалье, шпагу наголо!

– Не мешайте! Не мешайте! Расступитесь! – закричали почти все находившиеся за столом.

– Эй, Жано, закрой двери, – небрежно произнес хозяин «Мавра», привыкший к подобным сценам, – если пройдет патруль, это может помешать господам и повредить заведению.

– Неужели вы будете драться в столовой, как пьяные ландскнехты? – продолжал Жорж, хотевший оттянуть время. – Подождите по крайней мере до завтра.

– До завтра? Хорошо, – сказал Рейнси и сделал движение, чтобы вложить шпагу в ножны.

– Наш маленький шевалье трусит! – заметил Водрейль.

Рейнси сейчас же растолкал всех, кто стоял у него на дороге, и бросился на противника. Оба принялись драться с бешенством, но Водрейль успел старательно обернуть салфетку вокруг верхней части своей левой руки и ловко этим пользовался, чтобы парировать рубящие удары, между тем как Рейнси, не позаботившийся о подобной мере предосторожности, с первых же выпадов был ранен в левую руку. Тем не менее он продолжал храбро драться, крича лакею, чтобы тот подал ему кинжал. Бевиль остановил лакея, утверждая, что так как у Водрейля нет кинжала, то его не должно быть и у противника. Некоторые друзья шевалье протестовали, обменялись резкими словами, и дуэль, несомненно, перешла бы в стычку, если бы Водрейль не положил этому конец, повергнув своего противника с опасной раной в груди. Он быстро поставил ногу на шпагу Рейнси, чтобы тот ее не подобрал, и уже занес свою, чтобы добить его. Дуэльные правила допускали такую жестокость.

– Безоружного врага?! – воскликнул Жорж и вырвал у него из рук шпагу.

Рана шевалье не была смертельной, но крови вытекло много. Ее, как могли, перевязали салфетками, меж тем как он с насильственным смехом твердил сквозь зубы, что дело еще не кончено.

Вскоре появились хирург и монах, которые некоторое время оспаривали друг у друга раненого. Хирург, однако, одержал верх и, перенеся своего больного на берег Сены, довез его в лодке до его дома.

Пока одни из слуг уносили окровавленные салфетки и замывали обгаренный пол, другие ставили на стол новые бутылки. Что касается Водрейля, он тщательно вытер свою шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился и, с невозмутимым хладнокровием вынув из кармана письмо, попросил всех помолчать и прочел, при общем хохоте, первые строчки:

«Дорогой мой, этот скучный шевалье, который пристаёт ко мне...»

– Выйдем отсюда, – сказал Мержи брату с отвращением.

Капитан вышел вслед за ним. Внимание всех было так поглощено письмом, что их отсутствия не заметили.

IV. Обращенный

Дон Жуан. Как! Ты принимаешь за чистую монету все только что сказанное мной и думаешь, что у меня слова соответствуют мыслям?
Мольер. Каменный гость, V, 2

Капитан Жорж вернулся в город вместе со своим братом и проводил его до дому. По дороге они едва обменялись несколькими словами, – сцена, свидетелями которой они только что были, произвела на них тягостное впечатление, невольно располагавшее их к молчанию.

Ссора эта и беспорядочный поединок, который за ней последовал, не заключали в себе ничего чрезвычайного для той эпохи. По всей Франции, из конца в конец, преувеличенная щепетильность дворянства приводила к самым роковым событиям, так что, по среднему подсчету, за царствование Генриха III и Генриха IV дуэльное поветрие унесло большее количество знатных людей, чем десять лет гражданской войны.

Помещение капитана было обставлено с элегантностью. Шелковые занавески с узором и ковры ярких цветов прежде всего остановили на себе взоры Мержи, привыкшего к большей простоте. Он вошел в кабинет, который брат его называл своей молельней, так как еще не было придумано слово «будуар». Дубовый аналой с прекрасной резьбой, Мадонна, написанная итальянским художником, сосуд для святой воды с большой буксовой веткой, по-видимому, указывали на благочестивое предназначение этой комнаты, меж тем как низенький диван, обитый черным шелком, венецианское зеркало, женский портрет, различное оружие и музыкальные инструменты говорили о довольно светских привычках хозяина этого помещения.

Мержи бросил презрительный взгляд на сосуд со святой водой и ветку, печально напоминавшую ему об отступничестве его брата. Маленький лакей подал варенье, конфеты и белое вино; чай и кофе еще не были тогда в употреблении, и у наших предков все эти утонченные напитки заменялись вином.

Мержи, со стаканом в руке, все время переводил глаза с Мадонны на кропильницу, с кропильницы на аналой. Он глубоко вздохнул и, взглянув на брата, небрежно раскинувшегося на диване, произнес:

– Вот ты и настоящий папист! Что бы сказала наша матушка, будь она здесь?

Мысль эта, по-видимому, болезненно задела капитана. Он нахмурил свои густые брови и сделал знак рукой, словно прося брата не касаться этой темы. Но тот безжалостно продолжал:

– Неужели твое сердце так же отреклось от верований нашей семьи, как отреклось от них твои уста?

– Верованья нашей семьи... Они никогда не были моими. Как! Мне верить в лицемерные проповеди ваших гнусавых пресвитеров... мне?

– Разумеется, гораздо лучше верить в чистилище, в исповедь, в непогрешимость папы! Гораздо лучше становиться на колени перед пыльными сандалиями капуцина! Дойдет до того, что ты будешь считать невозможным сесть за обед, не прочитав молитвы барона де Водрейля.

– Послушай, Бернар! Я ненавижу словопрения, особенно касающиеся религии; но рано или поздно мне нужно объясниться с тобой, и раз уж мы начали этот разговор, доведем его до конца; я буду говорить с тобой совершенно откровенно.

– Значит, ты не веришь во все эти нелепые выдумки папистов?

Капитан пожал плечами и опустил каблук на пол, зазвенев одной из широких шпор. Он воскликнул:

– Паписты! Гугеноты! С обеих сторон суеверие! Я не умею верить тому, что представляется моему разуму нелепостью. Наши акафисты, ваши псалмы – все эти глупости стоят одна

другой. Одно только, – прибавил он с улыбкой, – что в наших церквах бывает иногда хорошая музыка, тогда как у вас для воспитанного слуха настоящий ухoder.

– Славное преимущество у твоей религии! Есть из-за чего в нее переходить!

– Не называй ее моей религией, потому что я верю в нее не больше, чем в твою. С тех пор как я научился думать самостоятельно, с тех пор как разум мой стал принадлежать мне...

– Но...

– Ах, уволь меня от проповедей! Я наизусть знаю все, что ты мне скажешь. У меня тоже были свои упования, свои страхи. Ты думаешь, я не делал всех усилий, чтобы сохранить счастливые суеверия своего детства? Я перечел всех наших богословов, чтобы найти в них утешение в тех сомнениях, что меня устрашали, – я только усилил свои сомнения. Короче сказать, я не мог больше верить и не могу. Вера – это драгоценный дар, в котором мне отказано, но которого я ни за что на свете не старался бы лишить других людей.

– Мне жаль тебя.

– Прекрасно, и ты прав. Будучи протестантом, я не верил в проповеди; будучи католиком, я так же мало верю в обедню. К тому же, черт возьми, не достаточно ли было жестокостей в нашей гражданской войне, чтобы с корнем вырвать самую крепкую веру?

– Жестокости эти – дела людей, и притом людей, извративших слово Божье.

– Ответ этот принадлежит не тебе. Но допусти, что для меня это недостаточно еще убедительно. Я не понимаю вашего Бога и не могу его понять... А если бы я верил, то это было бы, как говорит наш друг Жодель, не «без превышения расходов над прибылью».

– Раз ты к обеим религиям безразличен, зачем тогда это отступничество, так огорчившее твое семейство и твоих друзей?

– Я двадцать раз писал отцу, чтобы объяснить ему свои побуждения и оправдаться, но он бросал мои письма в огонь не распечатывая и обращался со мной хуже, чем если бы я совершил большое преступление.

– Матушка и я не одобряли этой чрезмерной строгости. И если б не приказания...

– Я не знаю, что обо мне думали. Мне это не важно. Вот что меня заставило решиться на этот опрометчивый поступок, которого я не повторил бы, если бы вторично представился случай...

– А! Я всегда думал, что ты в нем раскаиваешься.

– Я раскаиваюсь? Нет, так как я не считаю, что я совершил какой-нибудь дурной поступок. Когда ты был еще в школе, учил свою латынь и греческий, я уже надел панцирь, повязал белый шарф и участвовал в наших первых гражданских войнах. Ваш маленький принц Конде, благодаря которому ваша партия сделала столько промахов, – ваш принц Конде посвящал вашим делам время, свободное от любовных походов. Меня любила одна дама – принц попросил меня уступить ее ему; я ему отказал в этом, и он сделался моим смертельным врагом. С той поры его задачей стало изводить меня всяческим образом.

И маленький красавчик принц,
Кому бы только целоваться,

указывает партийным фанатикам на меня как на некое чудовище распутства и неверия. У меня была только одна любовница, которой я держался. Что касается неверия, я никого не трогал. Зачем было объявлять мне войну?

– Я никогда бы не поверил, что принц способен на такой дурной поступок.

– Он умер, и вы из него сделали героя. Так уж ведется на свете. У него были свои достоинства; умер он как храбрец, и я ему простил. Но тогда он был могуществен и считал преступлением со стороны какого-то бедного дворянина вроде меня противиться ему.

Капитан прошелся по комнате и продолжал голосом, в котором все больше слышалось волнение:

– Все священники и ханжи в войске сейчас же набросились на меня. Я так же мало обращал внимания на их лай, как и на их проповеди. Один из приближенных принца, чтобы подслужиться ему, назвал меня в присутствии всех наших капитанов развратником. Он добился пощечины, и я его убил. В нашей армии каждый день дуэлей по двенадцати, и генералы делали вид, что не замечают этого. Но для меня сделали исключение, и принц решил, чтобы я послужил примером всей армии. По просьбе всех знатных господ и, должен признаться, по просьбе адмирала меня помиловали. Но ненависть принца еще не была удовлетворена. В сражении под Жизнейлем я командовал отрядом пистольщиков; я был первым в стычке, мой панцирь, погнутый в двух местах от аркебузных выстрелов, сквозная рана от копья в левую руку показывали, что я не щадил себя. Вокруг меня было не более двадцати человек, а против нас шел батальон королевских швейцарцев. Принц Конде отдает мне приказ идти в атаку... Я прошу у него два отряда рейтаров... и... он называет меня трусом.

Мержи встал и взял брата за руку. Капитан продолжал с гневно сверкающими глазами, не переставая ходить: